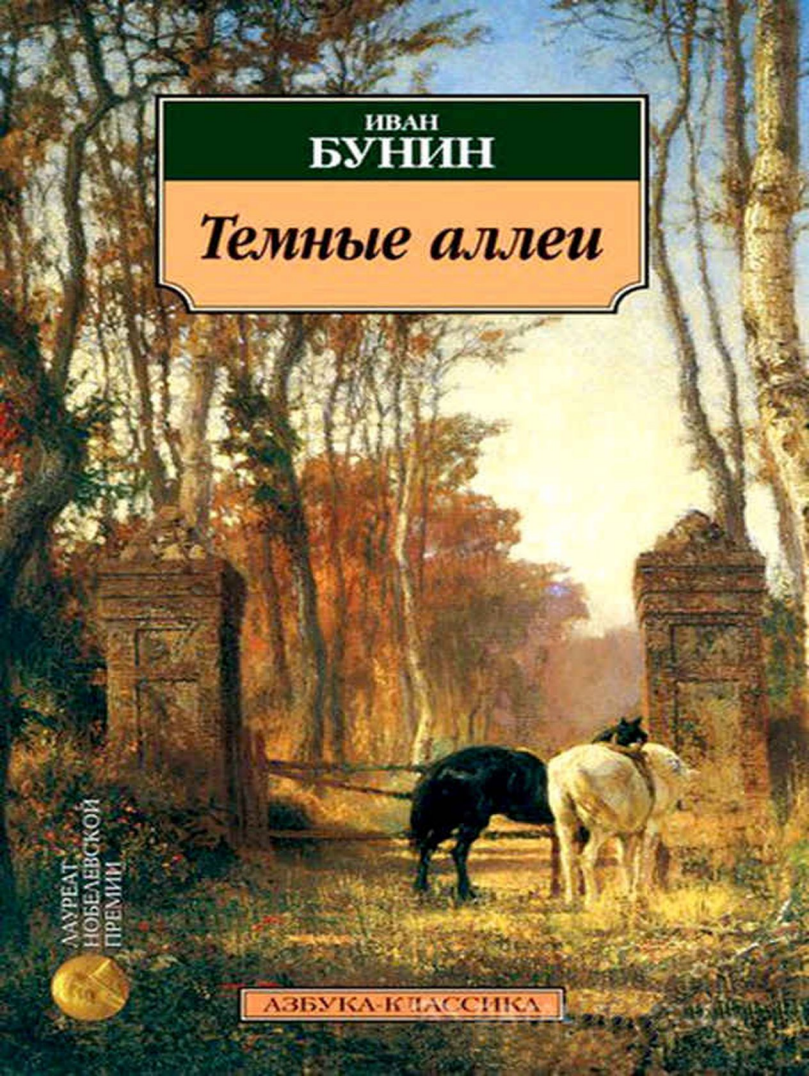
ИВАН
БУНИН
Темные аллеи
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
АЗБУКА-КЛАССИКА

Галя Ганская
Иван Алексеевич Бунин

Аннотация
Галя Ганская

Аннотация

Разговор в парижском кафе о весне, о весне в Одессе и о прелестной дочке неудавшегося художника.

Галя Ганская

Художник и бывший моряк сидели на террасе парижского кафе. Был апрель, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах.

— А в мои золотые времена Париж весной был, конечно, еще прекраснее, — говорил он. — И не потому только, что я был молод, — сам Париж был совсем другой. Подумай: ни одного автомобиля. И разве так, как теперь, жил Париж!

— А мне почему-то вспомнилась одесская весна, — сказал моряк. — Ты, как одессит, еще лучше меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть — это смешение уже горячего солнца и морской еще зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской…

Художник, раскуривая трубку, крикнул: «Garcon, un demi!»[1] — и живо обернулся к нему:

— Извини, я тебя перебил. Представь себе — говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Ты со-

---

[1] notes: 1
Гарсон, кружку пива! *(франц.)*

вершенно прав, — одесская весна действительно нечто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздельно парижские весны и одесские, они у меня чередовались, ты ведь знаешь, как часто ездил я в те времена в Париж весной… Помнишь Галю Ганскую? Ты видел ее где-то и говорил мне, что никогда не встречал прелестней девочки. Не помнишь? Но все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз и о ней, и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. Вероятно, у каждого из нас найдется какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкий грех, хотя, видит Бог, все-таки невольный. Теперь это дело столь давнее, что я могу рассказать тебе его с полной откровенностью…

Я знал ее еще подростком. Росла она без матери, при отце, которого мать уже давно бросила. Был он очень состоятельный человек, а по профессии неудавшийся художник, любитель, как говорится, но такой страстный, что, кроме живописи, не интересовался ничем в мире и всю жизнь занимался только тем, что стоял за мольбертом и загромождал свой дом — у него была усадьба в

Отраде — старыми и новыми картинами, скупая все, что ему нравилось, всюду, где возможно. Очень красивый был человек, дородный, высокий, с чудесной бронзовой бородой, полуполяк, полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно-вежливый, внутренне очень замкнутый, но делавший вид очень открытого человека, особенно с нами: одно время все мы, молодые одесские художники, гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встречал нас с распростертыми объятиями, держался с нами, при всей разнице наших лет, совсем по-товарищески, без конца говорил о живописи, угощал на славу. Гале было тогда лет тринадцать — четырнадцать, и мы восхищались ею, конечно, только как девочкой: мила, резва, грациозна была она на редкость, личико с русыми локонами вдоль щек, как у ангела, но так кокетлива, что отец однажды сказал нам, когда она вбежала зачем-то к нему в мастерскую, что-то шепнула ему в ухо и тотчас выскочила вон:

— Ой, ой, что за девчонка растет у меня, друзья мои! Боюсь я за нее!

Потом, с грубостью молодости, мы как-то сразу и все до единого, точно сговорившись, бросили ходить к нему, что-то надоело нам в Отраде —

верно, его непрестанные разговоры об искусстве и о том, что он наконец открыл еще один замечательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провел две весны в Париже, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлейшим щеголем: цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, полулаковые ботинки с пуговками, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и обращение с женщинами совершенно подлое по безответственности.

И вот иду я однажды в чудесный апрельский день по Дерибасовской, перехожу Преображенскую и на углу, возле кофейни Либмана, встречаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, где была эта кофейня, — на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тем, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом? Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себе: весна, всюду множество нарядного, беззаботного и приветливого народа, эти скворцы, сыплющие немолчным щебетом, точно каким-то солнечным дождем, — и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хоро-

шенькая тоненькая девушка во всем новеньком, светло-сером, весеннем. Личико под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалькой, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза.

Ну, конечно, восклицания, расспросы и упреки: как вы все забыли папу, как давно не были у нас! Ах, да, говорю, так давно, что вы успели вырасти. Тотчас купил ей у оборванной девчонки букетик фиалок, она с быстрой благодарной улыбкой глазами тотчас, как полагается у всех женщин, сует его к лицу себе. — Хотите присядем, хотите шоколаду? — С удовольствием. — Подняла вуальку, пьет шоколад, празднично поглядывает и все расспрашивает о Париже, а я все гляжу на нее. — Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или все парижанками увлекаетесь? — Нет, больше не увлекаюсь, работаю и написал несколько порядочных вещиц. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника, и живу я в двух шагах отсюда. — Ужасно обрадовалась: — Конечно, можно! И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной! — Опустила вуальку, схватила зонтик, я беру ее под руку, она на ходу попадает мне в ногу и смеется.

— Галя, — говорю, — ведь мне можно называть

вас Галей? — Быстро и серьезно отвечает: вам можно. — Галя, что с вами сделалось? — А что? — Вы и всегда были прелестны, а теперь прелестны просто на удивление! — Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьезно: — Это еще что, то ли будет! — Ты помнишь темную, узкую лестницу на мою вышку со двора? Тут она вдруг притихла, идет, шурша нижней шелковой юбочкой, и все оглядывается. В мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шепотом: ка-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали, и все Париж… И стала ходить от картины к картине с тихим восхищением, заставляя себя быть даже не в меру неторопливой, внимательной. Насмотрелась, вздохнула: да, сколько прекрасных вещей вы создали!

— Хотите рюмочку портвейна и печений? — Не знаю… — Я взял у ней зонтик, бросил его на диван, взял ее ручку в лайковой белой перчатке: можно поцеловать? — Но я же в перчатке… — Расстегнул перчатку, поцеловал начало маленькой ладони. Опустила вуальку, без выражения смотрит сквозь нее аквамариновыми глазами, тихо говорит: ну, мне пора. — Нет, говорю, сперва посидим немного, я вас еще не рассмотрел хорошенько.

Сел и посадил ее к себе на колени, — знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже легоньких? Она как-то загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрел я на нее на всю, посмотрел на фиалки, которые она приколола к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления: а вам, говорю, вот эти фиалки нравятся? — Я не понимаю. — Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки. — Опустив глаза, смеется: — У нас в гимназии такие сравнения барышень с разными цветами называли писарскими. — Пусть так, но как же иначе сказать? — Не знаю… — И слегка болтает висящими нарядными ножками, детские губки полуоткрыты, поблескивают… Поднял вуальку, отклонил головку, поцеловал — еще немного отклонила. Пошел по скользкому шелковому зеленоватому чулку вверх, до застежки на нем, до резинки, отстегнул ее, поцеловал теплое розовое тело начала бедра, потом опять в полуоткрытый ротик — стала чуть-чуть кусать мне губы…

Моряк с усмешкой покачал головой:

— Vieux satyre![2]

— Не говори глупостей, — сказал художник. —

---

[2] notes: 2
Старый сатир! *(франц.)*

Мне все это очень больно вспоминать.

— Ну, хорошо, рассказывай дальше.

— Дальше было то, что я не видал ее целый год. Однажды, тоже весной, пошел наконец в Отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как по-свински мы его бросили. Очень постарел, в бороде серебрится, но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мне свои новые работы — летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди — старается, бедняк, не отстать от века. Я вру напропалую: чудесно, чудесно, большой шаг вперед вы сделали! Крепится, но сияет, как мальчик.

— Ну, очень рад, очень рад, а теперь завтракать! — А где дочка? — Уехала в город. Вы ее не узнаете! Не девочка, а уже девушка и, главное, совсем, совсем другая: выросла, вытянулась, як та тополя! — Вот не повезло, думаю, я и пошел-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть ее, и вот, как нарочно, она в городе. Позавтракал, расцеловал мягкую, душистую бороду, наобещал быть непременно в следующее воскресенье, вышел — а навстречу мне она. Радостно остановилась: вы? какими судьбами? были у папы? ах, как я рада! — А я еще больше, говорю, папа

мне сказал, что вас теперь и узнать нельзя, уже не тополек, а целый тополь, — так оно и есть.

— И действительно так: даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина. Улыбается и вертит на плече раскрытым зонтиком. Зонтик белый, кружевной, платье и большая шляпа тоже белые, кружевные, волосы сбоку шляпки с прелестнейшим рыжим оттенком, в глазах уже нет прежней наивности, личико удлинилось… — Да, я ростом даже немножко выше вас. — Я только качаю головой: правда, правда…

Пройдемся, говорю, к морю. — Пройдемся. — Пошли между садами переулком, вижу, все время чувствует, что, говоря, что попало, я не свожу с нее глаз. Идет, стройно поводя плечами, зонтик закрыла, левой рукой держит кружевную юбку. Вышли на обрыв — подуло свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют под солнцем, а море точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зеленой волной, все в барашках, вдали тонет в сизой мути, одним словом, Понт Эвксинский. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем, она, очевидно, думает то же, что и я, — как она сидела у меня на коленях год тому назад. Я взял ее за талию и так сильно прижал всю к себе, что она выгнулась, ловлю губы — старается высво-

бодиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдается, дает мне их. И все это молча — ни я, ни она ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку, просто и убежденно говорит:

— Ах, какой вы негодяй. Какой негодяй. Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла по переулку.

— Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет? — спросил моряк.

— До конца не было. Целовались ужасно, ну и все прочее, но тогда меня жалость взяла: вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не владеет собой совсем по-детски — и страшно и ужасно хочется этого страшного. Сделал вид, что обиделся: ну не надо, не надо, не хотите, так не надо… Стал нежно целовать ручки, успокоилась…

— Но как же после этого ты целый год не видал ее?

— А черт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею.

— Плохой же ты был Мопассан.

— Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видал я ее еще с полгода. Прошло лето, стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на даче — эта бессарабская осень нечто

божественное по спокойствию однообразных жарких дней, по ясности воздуха, до красоте ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи и я, иду раз опять мимо Либмана — и, представь себе, опять навстречу она. Подходит ко мне как ни в чем не бывало и начинает хохотать, очаровательно кривя рот: «Вот роковое место, опять Либман!»

— Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видеть, но что с вами?

— Не знаю. После моря все время ног под собой не чую от удовольствия бегать по городу. Загорела и еще вытянулась — правда?

Смотрю — правда, и, главное, такая веселость и свобода в разговоре, в смехе и во всем обращении, точно замуж вышла. И вдруг говорит:

— У вас еще есть портвейн и печенья?

— Есть.

— Я опять хочу смотреть вашу мастерскую. Можно?

— Господи Боже мой! Еще бы!

— Ну, так идем. И быстро, быстро!

На лестнице я ее поймал, она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я довел ее до мастерской, целуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно

зашептала:

— Но послушайте, ведь это же безумие… Я с ума сошла…

А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепаховым стоячим гребнем, на лбу подвитая челка, лицо в легком ровном загаре, глаза глядят бессмысленно-радостно… Я стал как попало раздевать ее, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с нее шелковую белую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде ее розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом грудей с алыми торчащими сосками, потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одна за другой стройные ножки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках, в этих, знаешь, батистовых широких панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время. Когда я зверски кинул ее на подушки дивана, глаза у ней почернели и еще больше расширились, губы горячечно раскрылись, — как сейчас все это вижу, страстна она была необыкновенно… Но оставим это. Вот что случилось недели через две, в течение которых она чуть не каждый день бывала у меня.

Неожиданно вбегает она однажды ко мне утром и прямо с порога:

— Ты, говорят, на днях в Италию уезжаешь?

— Да. Так что ж с того?

— Почему же ты не сказал мне об этом ни слова? Хотел тайком уехать?

— Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать.

— При папе? Почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь!

Я по-дурацки вспыхнул:

— Нет, поеду.

— Нет, не поедешь.

— А я тебе говорю, что поеду.

— Это твое последнее слово?

— Последнее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя…

— Я вам не Галя. Я вас теперь поняла — все, все поняла! И если бы вы сейчас стали клясться мне, что вы никуда и никогда вовеки не поедете, мне теперь все равно. Дело уже не в том!

И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачастила каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за ней, но удержался: нет, пусть придет в себя, вечером отправлюсь в Отраду, скажу, что

не хочу огорчать ее, в Италию не еду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг входит ко мне с дикими глазами художник Синани:

— Ты знаешь — у Ганского дочь отравилась! Насмерть! Чем-то, черт его знает, редким, молниеносным, стащила что-то у отца — помнишь, этот старый идиот показывал нам целый шкапчик с ядами, воображая себя Леонардо да Винчи. Вот сумасшедший народ эти проклятые поляки и польки! Что с ней вдруг случилось — непостижимо!

— Я хотел застрелиться, — тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. — Чуть с ума не сошел…

28 октября 1940